

## «НОВОЯЗ»

### КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Даниэл Вайсс

Язык советской пропаганды уже стал предметом многочисленных исследований. Они отличаются значительным разнообразием как по изучаемому временному периоду, так и по научным подходам. Если исследователи 1920-х годов часто удовлетворялись лишь более или менее атомистическим накоплением отдельных лексических и стилистических наблюдений, то уже в работах 1980-х годов<sup>1</sup> используется весь аппарат современной семантики и прагматики. Так, обсуждается роль имплицитных информаций (пресуппозиций, импликатур и т. п.), чувствительность отдельных «кусков» информации к отрицанию, проблемы диффузности и многозначности и т. п. С другой стороны, следует констатировать, что в историческом плане тот комплекс языковых средств и техник, который условно и для краткости можно назвать новоязом, до сих пор изучен слабо (не говоря уже о том, что отсутствует обзор пропаганды всей советской эпохи).

Прежде чем приступить к рассмотрению общих тенденций исторического развития новояза, следует остановиться на нескольких более общих вопросах. Во-первых, каково отношение новояза к понятию «пропагандистский текст»? Во-вторых, в каких *жанрах* пропагандистских текстов он проявляется в чистом виде, а в каких представлен лишь фрагментарно или отсутствует вовсе? В-третьих, какие *изменения* здесь наблюдаются а) во временном разрезе, б) в зависимости от автора-индивида? В своих предыдущих работах о советской пропаганде<sup>2</sup> я попытался ответить хотя бы частично на эти вопросы. Так, если исходить из определения *партийной пропаганды*, данного в руководстве для пропагандиста<sup>3</sup> («целенаправленная деятельность партии по формированию у масс марксистско-ленинского научного мировоззрения. Партийная пропаганда, осуществляемая КПСС, направлена на распространение революционной идеологии в массах, разъяснение целей внутренней и внешней политики партии, формирование классовых взглядов на события и явления общественной жизни»), то оказывается, что круг существующих текстов, удовлетворяющих этому определению, настолько широк, что не удается обнаружить никакой надежной общей для них языковой характеристики. Достаточно сопоставить в этом плане, к примеру, любой фрагмент из отчетного доклада генсека на любом съезде КПСС с частушкой о кулаке, сказкой о Ленине или с песней о красном соколе Ворошилове. Тем самым, новояз как возможный тест для проверки пропагандистской функции данного текста отпадает, поскольку он характеризует лишь подмножество всех пропагандистских текстов. Более того, нужно будет признать, что какой-либо единой диагностики пропагандистского характера данного текста не существует вовсе. К этому вопросу можно подходить лишь с учетом жанровой природы такого текста (объекта).

Но тогда еще более острым оказывается вопрос о жанрах пропагандистских текстов и о критериях их классификации. До сих пор никто не предпринимал попытки дать полный перечень таких жанров. Это, вероятно, обусловлено и тем, что объем такого перечня в свою очередь является исторической переменной: так, в сталинский период он крайне широк, поскольку пропаганда вторгалась в самые отдаленные, сугубо «неофициальные» или даже «частные», «интимные» жанры типа колыбельной, любовной песни и т. п., тогда как во времена застоя этого не наблю-

далось (по крайней мере, не производились новые тексты, относящиеся к этим жанрам, что не исключает возможности повторного продуцирования уже существующих текстов в официальных хрестоматиях, например, советского фольклора). Желательно поэтому различать «канонические» пропагандистские тексты, которые существовали в течение всего советского периода, от периферийных, ограниченных во времени. К каноническим, несомненно, относятся лозунги, разного рода речи, выступления, доклады и лекции политических деятелей (в том числе отчетные доклады), агентурные сообщения, комментарии, передовицы, поздравительные телеграммы (по различным — злободневным или ритуальным — поводам), опубликованные изложения теории марксизма-ленинизма и истории партии, биографии ее вождей в учебниках, энциклопедиях, словарях, отдельных статьях, руководствах для молодежи (октябрят, пионеров, комсомольцев, школьников) и т. п., некрологи, государственный гимн, различные присяги (пионерские, воинские) и т. п. Естественно, данный перечень не может претендовать на полный охват всего диапазона различных жанров пропагандистских текстов. Но ясно и то, что именно в этих канонических жанрах новояз проявляется в самом чистом виде и находит самое широкое распространение.

Нет необходимости перечислять здесь периферийные жанры пропагандистских текстов. Достаточно указать на некоторые из них, отнеся сюда весь советский фольклор, начиная с частушек, пословиц и поговорок и заканчивая былинами, причитаниями («плачи-сказы») и волшебными сказками. Далее, следует обратить внимание на весьма обширный и разнородный круг текстов, хотя бы частично носящих пропагандистский характер, таких, как юридические (Конституции СССР и республик, Устав партии, речи обвинителя на открытых процессах) или мемуарные (воспоминания Брежнева или Хрущева, хотя последние и написаны пенсионером). Подчеркнем при этом, что определение «периферийный» не связано со степенью идеологической насыщенности этих жанров, но объясняется лишь их ограниченным «временем жизни» и их языковым оформлением, т. е. полным или частичным отсутствием «новояза» и (в случае некоторых фольклорных жанров) их принадлежностью к нестандартным формам русской речи.

Стоит упомянуть и о том, что некоторые из периферийных жанров были изъяты из пропагандистского канона путем настоящего разоблачения. Такая судьба постигла, в частности, наиболее архаичные фольклорные жанры (былины, плачи, волшебные сказки), которые после 1953 года были научной фольклористикой демаскированы как псевдофольклор<sup>4</sup>, в том числе и теми, кто участвовал в фабрикации таких фальсификатов<sup>5</sup>. Другие виды периферийных пропагандистских текстов умирали естественной смертью вместе со смертью их главного референта: я имею в виду панегирическую сталиниану вроде посланий детей, благодарных за счастливое детство, песен о Сталине и т. п. Интересно отметить, что XX съезд, по видимому, не привел к исчезновению других пропагандистских жанров, зато он, как будет показано ниже, положил основу нового метадискурса о пропагандистском языке. Как бы то ни было, история «десталинизации» пропаганды начинается как будто с периферии и затрагивает центр, т. е. собственно новояз, только в 1956 году.

Разумеется, не все перечисленные жанры занимали равноправные позиции в пропагандистском универсуме. Несомненно, один из них царствовал в силу своей интертекстуальной вездесущности над всеми остальными: *лозунг* входит как часть-цитата в самые различные виды пропагандистских текстов, например, в Конституцию 1936 года, в советский гимн (последний состоял почти исключительно из лозунгов), в «Краткий курс» или в поздравительную телеграмму советским летчикам, пропавшим и найденным в 1938 году<sup>6</sup>; сообщение о смерти Сталина в польской печати превращается в настоящую лавину лозунгов<sup>7</sup>, Хрущев и Горбачев цитируют отдельные лозунги в своих речах и т. д. Иногда такой «импорт» лозунгов приводит

к весьма значительному острашению включающего текста; особенно ярко это чувствуется в фольклорных текстах, когда, к примеру, частушка кончается словами «Старикам везде у нас почет» или известным сталинским лозунгом «Нам чужой земли не надо, и своей не отдадим». В следующем отрывке из советской былины этот лозунг претерпевает в свою очередь определенную деформацию:

(1) Говорили тут советские богатыри:  
 — Мы своей земли не отдадим верхка,  
 А чужой земли не возьмем ногтя.  
 (Е. С. Журавлева. О боях на озере Хасан)

Вот как прокомментирует этот лозунг Хрущев-пенсионер в своих воспоминаниях: «О таком исходе усиленно шла *болтовня* во времена наркома Ворошилова и “ворошиловских стрелков”: “Ни пяди земли врагу! Ни шагу назад! Если война будет навязана, то она будет вестись на территории противника!” А что потом получилось, все знают».

Но цитата — только один из возможных способов распространения лозунгов. Альтернативный путь заключается в их переименовании. Особое место занимают тут так называемые советские *пословицы*, которые сплошь и рядом оказываются переодетыми лозунгами. Так, следующие примеры вряд ли сойдут за пословицы в рамках описания этого жанра, разработанного Пермяковым, зато они вполне годятся как лозунги: «На Волгу пойдешь — костей не соберешь», «Гони гада от Сталинграда», «Тула, Елец — фашистам конец», «Что завоевано революцией, подтверждается сталинской конституцией». Между прочим, некоторые лозунги действительно воспринимаются многими как пословицы. В частности, это верно для сделавшего блестящую карьеру лозунга «Кто не работает, тот не ест», представленного и в других славянских языках: ни у Даля, ни у Михельсона не отмечается такой пословицы, зато мы находим у Ленина<sup>8</sup> следующую фразу: «Кто не работает, тот да не ест — это понятно всякому трудящемуся». Ясно, что она восходит ко Второму посланию апостола Павла к фессалоникийцам (3, 10: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»).

Отметим попутно, что в контексте всего советского дискурса эти псевдопословицы остаются все-таки изолированными; в речах партийных и государственных лидеров мне, например, до сих пор не попало ни одной из них. Зато заслуживает внимания то обстоятельство, что советскому дискурсу не был чужд и основной фонд настоящих, традиционных пословиц: так, в речах Молотова или Хрущева сплошь и рядом встречаются подлинные пословицы, использованные для аргументативных или полемических целей.

Итак, оказалось, что новояз свойствен не всем видам пропагандистских текстов, но лишь наиболее «каноническим», «центральной» из них, причем также не всем в одинаковой степени. Остается выяснить последний из поднятых в начале вопросов: можно ли полагать, что новояз в течение своего существования не подвергался изменениям? Судя по столь характерным для новояза бесчисленным эпитетам-стабилизаторам, вроде *неизменно* (руководствоваться), *незыблемая* (основа), *неуклонно/неукоснительно следовать*, *бессмертное имя* (Ленина, Сталина) и т. п., и темпоральным показателям неизменности типа *Ленин жил, жив и будет жить* или *Партия была и остается...*, следует полагать, что идея идеологической устойчивости, непрерывности была советской пропаганде особенно дорога. На самом деле, при возникновении актуальной угрозы для этой устойчивости забота о ней принимает гораздо более эксплицитный вид. Так, после смерти Сталина мы находим в «Правде» от 7 марта 1953 г. следующий призыв, отражавший, несомненно, вполне реальные опасения аппарата:

(2) «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Со-

вет Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства — обеспечение *бесперебойного* и правильного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-либо *разброда и паники*, с тем, чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах».

Ввиду многочисленных резких поворотов, которые в действительности имели место в советской политике, эти постоянные призывы к соблюдению верности установленному курсу становятся вполне понятными. Бывали, однако, ситуации, когда власти приходилось признавать, что все-таки были допущены отклонения от единственно правильной линии. Это произошло по крайней мере дважды, а именно: во время разоблачения «культа личности» и преодоления «застоя». Недаром как Хрущев, так и Горбачев сопровождали критику своих предшественников требованием возвращения к *ленинским* принципам, т.е. к возобновлению как будто прерванной старой доброй традиции. Поэтому, если Горбачев в определенный момент и стал называть свою перестройку революцией, то это не была и не могла быть революция в современном «инноваторском» смысле этого слова, но лишь в давнем, средневековом понимании, когда революция обозначала восстановление давнего идеального или, по крайней мере, лучшего состояния (от лат. *re-volvere*: «катать назад»). В данной связи не имеет значения, насколько возобновление ленинских традиций действительно соответствовало сути новой политики, пропагандируемой Хрущевым или Горбачевым, — дело тут не столько в содержании, сколько в названии, а раз Ленин был основоположником единственно верного курса, то всякое устранение отклонения от этого курса могло называться только возвращением к ленинскому пути и тем самым восприниматься как восстановление постулата непрерывности.

Но если идеологическая неизменность является столь ценной, то следует полагать, что желаемая также неизменность языкового оформления — она же не только самый надежный показатель, но и лучший гарант политической непрерывности. Сами лидеры, конечно, хорошо сознавали это. Достаточно привести следующий отрывок из речи Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС:

(3) «Я помню, как на Украине в свое время узнали об аресте Косиора. Киевское радио обычно начинало свои передачи словами: “Говорит радиостанция имени Косиора”. Когда однажды передача началась без упоминания имени Косиора, все поняли, что с Косиором что-то случилось, по всей вероятности, он был арестован».

Тут Хрущев забыл добавить, что функционировал также противоположный прием, т.е. расширенная номинация: когда во время кампании против «космополитизма» за знакомыми фамилиями-псевдонимами некоторых деятелей вдруг появились добавленные в скобках их настоящие еврейские фамилии, это тоже сигнализировало, что с носителями «что-то случилось» и их место скоро будет вакантным.

Когда, однако, на повестке дня все-таки необходимость перемены, это может вызвать нежелательные интерпретации; свидетельство тому — продолжение той же речи Хрущева:

(36) «Поэтому, если мы теперь начнем снимать всюду эмблемы и менять названия, то люди могут подумать, что тех товарищей, в честь которых названы города, предприятия и колхозы, также постигла печальная участь, что они также арестованы. (*Оживление в зале*)».

Таким образом, языковой инновации препятствует как раз принцип неизменности названия. Тем не менее и новояз представляет собой *историческую переменную*: изменения в советской политике не могли не оставить свой отпечаток на его облике. Наблюдаются значительные сдвиги в его составе, от лексических средств

вплоть до арсенала речевых актов. Отчасти эти сдвиги происходили постепенно и еле заметно, отчасти явно и резким образом. Последний случай имел место тогда, когда новояз подвергался нормативному регламентированию со стороны власти, как это происходило во время десталинизации. Оказалось, что разоблачать можно не только лиц, но и слова, например, понятие *враг народа*, дискредитированное Хрущевым в упомянутой речи:

(4) «Сталин создал концепцию “врага народа”. Этот термин автоматически исключал необходимость доказательства идеологических ошибок, совершенных отдельным человеком или же группой лиц».

Тут, кстати, Хрущев был не прав: история понятия «враг народа» куда богаче, восходит оно к французской революции, а его значение было регламентировано декретом Конвента от 10 июня 1794 года («Врагами народа являются те, кто посягает силой или хитростью на общественную свободу. Объявляются также врагами народа: лица, которые призывают к восстановлению королевской власти, покушаются унижить или распустить национальный Конвент и революционное республиканское правительство...»<sup>9</sup>). Так что «перегиб», связанный с этим ярлыком, возник не при Сталине, а уже при Робеспьере! Добавим, что на русской почве он, по всей вероятности, не дождался столь исчерпывающего определения, хотя пользовались им вполне успешно уже в первые дни февральской революции, не говоря уже об Октябрьской (ср. Декрет от 28 ноября 1917: «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов»). Отсюда был лишь шаг к следующему определению «Политического словаря» 1940 года (тут, наконец, появляется Сталин): «У нас стало привычным, что врагов коммунистической партии и советской власти считают врагами народа».

Итак, благодаря Хрущеву этот термин, еще недавно вполне успешно употребленный при расправе с Берией (ср. «Известия» от 10 июля 1953 г.: «Как теперь установлено, *враг народа Берия* различными карьеристскими махинациями втерся в доверие...»), попал в кавычки, т.е. удостоился маркера не «своего», а «чужого» — он стал как будто тоже опальным. Отныне в социалистическом пандемониуме водятся только *враги партии* и *враги Советского Союза*<sup>10</sup>. Возникает, однако, вопрос, действительно ли все аппаратчики и во всех языковых ситуациях придерживались нового языкового порядка. Следующий отрывок из воспоминаний Хрущева (речь идет о споре внутри ЦК, стоит ли принять к публикации книгу Казакевича «Синяя тетрадь») заставляет усомниться в этом:

(5) «Разослали книгу всем членам Президиума, и вопрос о ней был включен в повестку очередного заседания. “Кто имеет какие-нибудь соображения? Почему эту книгу не следует печатать?” — спросил я. “Ну, товарищ Хрущев, — Суслов вытянув шею, смотрит недоуменно, — как же можно напечатать эту книгу? У автора Зиновьев называет Ленина «товарищ Ленин», а Ленин называет Зиновьева «товарищ Зиновьев». Ведь Зиновьев — враг народа”. Меня поразили его слова».

Несмотря на то, что описываемая сцена имела место спустя несколько лет после XX съезда (книга вышла в 1961 г.), главный идеолог партии, по-видимому, еще не отвык от испытанных сталинских ярлыков (можно предположить, что в данном случае ярлык не был произнесен с иронической интонацией, которая в устной коммуникации заменяет кавычки как маркер чужого). Неслучайным является и все обрамление: ведь по Сулову, книга Казакевича не должна быть опубликована именно потому, что Зиновьев у него удостоился обращения *товарищ*, полагающегося только «своим» (важно и то, что самая номинация «товарищ» принадлежит Ленину) — а как враг народа может быть «своим человеком»? В «Кратком курсе» такие личности назывались совсем по-другому — *эти господа!* Интересно было бы выяснить, когда этот прием отказа врагу в обращении *товарищ* был снят с пропагандистского репертуара. Но тут мы преждевременно переходим к разбору од-

ной из главных черт новояза: его стремления к поляризации, к максимальному разграничению «своего» и «чужого», о чем речь пойдет ниже.

И все же не каждое выражение, злоупотребление которым критиковалось, после этого исчезало из словаря новояза. Так, близким родственником *врага народа* являлся *антисоветчик*. И тут нашелся разоблачитель в лице Хрущева:

(6) «Достаточно было кому-нибудь написать, что в магазине продают плохую картошку, и это расценивалось уже как антисоветчина».

Но судьба этого выражения выглядела не так печально, как судьба *врага народа*: обошлось без кавычек, ярлык *антисоветчина* дожил до конца советского строя.

При надобности Хрущев пускал в ход и более опасное оружие: он начинал высмеивать старые языковые обычаи, «разоблачая» некоторые замашки и слабости Сталина (из речи на закрытом заседании XX съезда):

(7) «Достаточно сказать, что многие города, заводы, промышленные предприятия, колхозы и совхозы, советские и культурные учреждения носят названия — если вы мне позволите такое сравнение, — как будто они являются частной собственностью, названия по имени тех или других руководителей и членов правительства, которые и сейчас находятся в добром здравии и активно работают».

Но увы! отменить именно этот обычай оказалось совсем нелегко, о чем свидетельствуют его же соображения, приведенные выше (пример 3б).

Наряду с такими эксплицитными случаями история пропаганды знает и более имплицитные способы устранения устаревших вариантов. Закавычивание может произойти и без предварительной подготовки, как это имело место с эпитетом *загнивающий*, в прежние времена регулярно сопровождавшим слово *Запад*<sup>11</sup>. Хрущев, когда был у власти, отнюдь не пренебрегал им:

(8) «Современный империализм характеризуется во все возрастающей степени *загниванием* и паразитизмом»<sup>12</sup>.

В своих воспоминаниях он, однако, снабжает его кавычками:

(9) «Нам же приходится идти на поклон к капиталистам. Это позор. К сожалению, возьмите наши радиоприемники, магнитофоны, автомашины. Каковы они? Вот мы отметили 50-летие Октябрьской революции покупкой у «гнилого капитализма» автозавода марки «Фиат»».

Даже если допустить, что кавычки не содержались в надиктованной версии, а были добавлены переписчиком, контекст явно указывает на ироническое употребление эпитета: он стал уже «чужим»<sup>13</sup>.

Тут можно возразить, что данный случай «не в счет», поскольку демаскирование пропагандистской формулы произошло не публично, но в частных записях пенсионера; однако автор, безусловно, рассчитывал на то, что когда-нибудь эти мемуары будут доступны широкому читателю. В этом отношении он как будто пользовался привилегированным положением, поскольку мог свободно опровергать любое пропагандистское высказывание, в том числе и свою собственную хлестаковщину, ср.:

(10) «Подбадривая своих и пугая противника, я тогда публично говорил, что мы способны *поразить муху в космосе*, хотя абсолютное уничтожение запущенных атомных боеголовок, особенно если их много, оказалось в ту пору невозможным».

Разумеется, не каждое появление кавычек при ходовом выражении уже свидетельствует о том, что новояз изжил себя. Можно его вложить и в уста противника, приписав ему «неправильную» референцию:

(11) «Советский Союз — огромная страна с богатейшими природными ресурсами, располагающая высококвалифицированными кадрами, великой наукой. Большинство рабочих имеет полное среднее образование. Так что не надо торопиться отправлять нас на «свалку истории». В Советском Союзе это вызывает только улыбку»<sup>14</sup>.

*Свалка истории* является (как и приведенное в пр. 8 *загнивание Запада*), одним из последних представителей целого семантического поля для отмежевания «чу-

жого», базирующегося на метафорах распада, гниения и мусора. Классическим примером может служить следующая инвектива против Сартра из советской прессы 1950-х годов:

(12) «Что иное, кроме *гнилостной плесени на теле разлагающейся буржуазии*, представляют собой разные сартры?»

Хрущев, правда, в отдельных случаях еще использовал слова данного семантического поля, например, в своей известной речи об искусстве и литературе («Высокая идейность и художественное мастерство»), где он говорит о *полуразложившихся типах, встречающихся еще среди нашей молодежи* (тут обращают на себя внимание две особенности, благодаря которым метафора как бы оживляется: префикс *полу-* и референция к индивиду; применение к собирательному или абстрактному имени типа *разлагающийся капитализм* или *разложившаяся знать* куда менее необычны) и *мусорных ямах прошлого, где ползает всякая буржуазная нечисть из-за рубежа*; иногда этому способствовал исторический контекст — когда он упоминает о *меньшевицском отребье*. Но большинство слов из этого поля исчезало незаметно, т.е. без всякого демаскирования хотя бы с помощью кавычек.

До сих пор были рассмотрены различные способы исчезновения тех или иных выражений: путем эксплицитного разоблачения, закавычивания или просто изъятия из словаря пропагандиста. Разумеется, изменения могли также касаться всего лишь условий употребления данного выражения при полном его сохранении. Так, весьма часто менялся *референциальный потенциал*: определения, применяемые к одной категории врагов, могли охватить новый разряд, в крайнем случае даже бывших советских вождей и лидеров, отступивших от «правильной линии». Самым наглядным проявлением такого референциального сдвига следует считать *изменение сочетаемости* данного выражения. Примерами такого рода наполнена история новояза. Вот один из них: раньше всякие метафоры, связанные с болезнями и их симптомами, обязательно указывали на внешнего врага (ср. *язвы капитализма*) или внутрипартийного противника<sup>15</sup>:

(13) «Кому не известна *болезнь узкого практицизма и беспринципного делачества*, приводящего нередко некоторых “большевиков” к перерождению и к отходу их от дела революции? *Эта своеобразная болезнь* получила свое отражение в рассказе Б. Пильняка “Голый год”, где изображены типы русских “большевиков”»<sup>16</sup>.

Отметим, что носители такой болезни уже в 1924 г. не могут называться большевиками: они заслужили себе кавычки, а лет через десять станут «врагами народа». Но болезни оказываются заразными, в частности, они могут переноситься на самого Сталина, как это произошло в воспоминаниях Хрущева:

(14) «Избавляясь окончательно от *рецидивов сталинской болезни*, хорошо бы образовать международные органы контроля над вооружениями».

В докладе на закрытом заседании XX съезда речь идет о *мании преследования* Сталина. Но и потом не вымерли больные: у Горбачева *болезнью* называется, например, болезнь сделать ошибку, особенно распространенная, на его взгляд, в «годы застоя».

О пережитках прошлого быта, соответствующей ментальности и т. п. в 1920-е годы говорилось как об *отрыжках* (например, *гнилого мещанства*), а Хрущев-пенсиянер диагностирует подобный симптом у себя:

(15) «А мой долг как Председателя Совета Министров СССР требовал осторожности, и я ее проявил. Но не было ли в ней *отрыжки сталинских времен*? Возможно, возможно. Ведь столько лет я проработал под руководством Сталина».

Мало того, при надобности даже определения, умершие вместе с царским режимом, можно оживить для того, чтобы заклеить бывших партийных соратников; так, спор о «Синей тетради» Казакевича (ср. выше, пр. 5) Хрущев подытоживает следующим образом:

(16) «А тут вдруг *полицейские* меры — держать и не пущать!

Такие функции *околоточного* выполнял раньше и по-прежнему выполняет

сей наш главный *околоточный* Суслов».

В хрущевских воспоминаниях вообще становятся возможны самые невиданные прежде сочетания, например:

(17) «К тому времени уже сами *наши брехуны, соврав* однажды и много раз повторяя свою *ложь*, начали верить в собственную *выдумку*, что Югославия — капиталистическое государство, у которого нет ничего социалистического».

Эта фраза, говоря новоязом, «глубоко чужда духу социалистического общества». Ведь тут нарушен самый основной закон семантического согласования: *наши* не могут быть брехунами и уж ни в коем случае не могут ни врать, ни лгать, ни выдумывать. Это явное отклонение от нормы новояза. Стоит, однако, лишь убрать слово *наши*, чтобы фраза зазвучала совсем нормально.

Особый случай составляют выражения, референция которых перемещается от индивида к коллективу. Такова ситуация *вождя*: после Сталина ни один отдельный деятель (за исключением, разумеется, Ленина) уже не мог называться *вождем*, остались только *лидеры*; *вождь*, однако, выживает в сочетании с *партией*. Такой же переход наблюдается и у прилагательного *родной*, раньше полагавшегося Сталину, а после его смерти встречавшегося еще некоторое время в сочетании с партией и с правительством, а потом бесследно исчезнувшего. Наряду с усиливающейся ролью настоящих собирательных слов типа (*партийное*) *руководство*, (*советское*) *правительство*, эти примеры свидетельствуют о своеобразной языковой *коллективизации*, сопровождавшей отход от культа личности.

Небезынтересно в этой связи отметить, что названия руководства того или иного государства не посредством страны, но ее президента (типа *администрация Рейгана*, *правительство Бегина* или *режим Пиночета*) возможны лишь для обозначения «не своих» (ср. *брежневское правительство*, *правительство Герека* и т. п. — мешало тут, видимо, выделение индивида, противоречащее принципу коллективного руководства). Добавим, что метафоры *солнца* и *света*, прежде также украшавшие упоминания о Сталине, проходят еще более продвинутую деперсонализацию: отныне бывает только *солнце коммунизма* или *светлое будущее* (ср. недопустимость сочетаний типа *солнце брежневской конституции* или *свет Косыгин*). Нетрудно догадаться, что референциальные сдвиги отражались также на других маркерах «отчужденности», например, модально окрашенных союзах или частицах вроде *якобы*, *де(с)кать*, *мол* и т. п., употребляемых для оценки и передачи чужих высказываний или соображений.

Этих примеров, думается, достаточно для утверждения исторической переменности новояза. Из-за невозможности подробного рассмотрения всех изменений, происшедших в новоязе в течение всего периода его существования, ограничимся выделением самых общих тенденций его развития. Можно констатировать, что сначала он представлял собой смесь трех различных стилистических пластов: агитационного, бюрократического и ритуального. С течением времени усиливались последние два компонента за счет первого; этот процесс окончательно завершился с уходом Хрущева — застойные времена отличались не только политическим, но и языковым окостенением. Ослабление агитационного компонента проявилось, в частности, в следующих изменениях: вымирание определенных типов речевых актов, например, заклинаний и проклятий типа «Долой!»; *деэмоционализация*, приведшая к отказу от бранной лексики и других эмоционально окрашенных определений, а особенно к систематической *деметафоризации*: отмирают целые семантические поля вроде упомянутой уже группы «распад — загнивание — мусор», пустеет пропагандистский зверинец, покинутый империалистическими хищниками, а читатель советской прессы, скажем, 1980-х годов, привыкший к застойному бетону, мог затосковать по прежним пропагандистским перлам, например:

(18) «Подобно *гигантским спрутам*, монополии *опутали своими щупальцами* целые страны и континенты, *высасывая жизненные соки* из народов»<sup>17</sup>.

Другие метафорические поля перестают развиваться: так, техницизмы «отстают от жизни», т. е. не поспевают за техническим прогрессом, например, средства транспорта не поставляют нового материала, т. е. по-прежнему преобладают столь излюбленные сталинской пропагандой железнодорожная (*локомотив истории, переставить X на рельсы Y-ка; Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановка* и т. п.) и корабельная (*капитанский мостик советского корабля*) метафоры, а новые достижения советской науки, такие, как спутники, ракеты или луноход, практически не оставляют следа; совсем изолированным остается следующее сравнение из речи Хрущева:

(19) «Программы КПСС можно сравнить с *трехступенчатой ракетой*. Первая ступень вырвала нашу страну из капиталистического мира, вторая — подняла к социализму, а третья — призвана вывести на орбиту коммунизма. Это замечательная ракета, товарищи. (*Бурные аплодисменты*) Она движется по точному курсу, проложенному гениальным Лениным, нашей революционной теорией, ее питает самая великая энергия — энергия строителей коммунизма. (*Аплодисменты*)»<sup>18</sup>.

Другая, не менее важная общая тенденция развития новояза — это *стилистическая гомогенизация*, заключающаяся в тщательном отбрасывании ненормативных или некодифицированных языковых средств: арготизмов, профессионализмов, жаргонизмов, «просторечизмов». Первой цезурой следует, видимо, считать рубеж 1920—1930-х годов, когда было вытеснено из языка прессы большинство арготизмов и жаргонизмов; вторым главным этапом этого обеднения оказался уход Хрущева, после которого высказывания вроде следующих стали невозможными:

(20) «Беседуя с ним, я говорил: “Обождите, мы вам еще *покажем кузькину мать* и в производстве хозяйственной продукции”»<sup>19</sup>.

(21) «Такие типы с высокомерным презрением говорят о труде. *Жрет этакий шалопай* хлеб насущный, да еще и глумится над теми, кто создает этот хлеб своим нелегким трудом. Свое намерение осудить праздных людей, туенядцев постановщики фильма не сумели осуществить. У них не хватило гражданского мужества и гнева заклеить, пригвоздить к позорному столбу подобных *выродков и отщепенцев*, они отделались лишь слабой пощечиной негодяю. Но таких *подонков* пощечиной не исправишь» (Н. С. Хрущев. «Высокая идейность...»).

Здесь чувствуется хрущевский кулак: место физической пощечины занимает вербальная оплеуха. Столь брутального языка брежневская эпоха уже не знала; ожил он только в парламентских дебатах посткоммунистической России.

Свое усовершенствование процесс стилистической гомогенизации достиг в письменных и устных выступлениях Горбачева, где автор тщательно снабжает даже самый невинный разговорный фразеологизм маркером «отчуждения» (ср.: «Но жизнь, *как говорится*, не стоит на месте», «Оказывается, что перестройка кое-кому наступила, *как говорят*, на большую мозоль...», «Для нас *как бы* открылись двери в новое, необычное жизненное пространство»).

Итак, можно констатировать, что новояз подвергался постепенному, хотя и проходившему скачкообразно, процессу *обеднения*; это «иссыкание творческих сил», отразилось, например, в словообразовании (ср. сталинские производные от *двурушник*: *двурушничество, двурушнический, двурушничать*).

Каковы же *константы* развития новояза? Во-первых, его всегда отличала *высокая степень предсказуемости*, находившая свое наиболее яркое выражение во фразеологической устойчивости большинства сочетаний. Общий принцип можно сформулировать так: если выбираешь смысл, имеющий способность к градации, оформленный существительным, прилагательным или глаголом, обязательно добавляй интенсификатор (отсюда изобилие таких сочетаний, как *твердый и решительный* (шаг), *жесткая и беспощадная* (борьба), *всецело/полностью/безраздельно* (поддерживать/одобрять/признавать), *беззаветная* (преданность/служба/приверженность) и т. п.)<sup>20</sup>. Советский фольклор позволяет выделить принцип, конкурирующий с принципом усиления: как отмечает С. Никитина<sup>21</sup>, фольклорные определения типа

*чисто(е) поле, белы(е) руки* функционируют как выражения функции «как(ой) следует». Именно такие сочетания широко представлены в советских былинах и причитаниях, примером чего может служить фрагмент из плача-сказа П. Н. Денисовой о Кирове:

(22) Расколись-ка ты, *мать—сыра земля,*  
 Ты откройся-ка, *гробова доска,*  
 Покажись-ка нам, *лицо белое*  
 Сергея да Мироновича.  
 Уж вы вздуньте, *ветры буйные,*  
 Вы Сергею да Мироновичу  
 В *резвы ноженьки* хожденьице,  
 Во *белы руки* владеньице,  
 Во *ясны очи* гляденьеице,  
 В *уста умны* говореньице.

Как видно, выражения лексической функции «как(ой) следует» выполняют лишь функцию украшающего эпитета — вот почему даже ноги Кирова, мертвые уже 6 лет, могут быть резвы. Для новояза функции «как(ой) следует» совсем не характерна; украшающие эпитеты вроде *гениальный Сталин, мудрый Ленин* сюда не относятся. Этот момент фразеологической устойчивости в сталинской пропаганде чрезвычайно важен.

Любой пропагандистский язык призван в максимальной степени *выделить оппозицию «мы — они»*, т. е. различие между «своими» и «чужими», между собственными рядами и врагом или противником (критиком, оппонентом), желательными и нежелательными фактами и т. п. Новояз в этом отношении отнюдь не исключение, но благодаря значительной продолжительности своего существования эта референциально-аксиологическая поляризация в нем успела развиться с предельной последовательностью. Кстати, если сама эта доминанта оставалась неизменной в течение всей советской истории, то являлась она все-таки переменной в том смысле, что принимала самые разнообразные формы в зависимости от данного исторического периода. Особенно это верно для *образа врага* (достаточно сравнить в этом отношении сталинский и брежневский периоды!), причем различные разряды врагов могли трактоваться по-разному. Это бросается в глаза, например, при чтении «Краткого курса», где враги народа предстают перед нами совершенно не так, как внешние (буржуазный строй, капиталистические страны, фашистская Германия). Для позднейшего периода тут заметна также отмеченная выше тенденция к ослаблению эмоциональности. Так, если раньше империализм был обязательно *оголтелым* или *злым*, а его *происки* или *попытки* *отчаянными, пресловутыми* и т. п., то в брежневский период такие эпитеты постепенно исчезли, а Горбачев чаще всего предпочитал неопределенное *«кое-кто на Западе»*.

Граница между разграничительным потенциалом определенных лексических и грамматических приемов в обыденной речи и спецификой их функционирования в новоязе не всегда проводится с желательной четкостью. Так, отнесение «неодобрительного множественного числа» или неопределенных местоимений к разряду «чужого» уже заложены в литературном языке<sup>22</sup>. Отличительным признаком новояза в этой связи можно считать одностороннее включение множественного числа собственных имен или фамилий в негативный полюс (ср. *разные сартры* в приведенном пр. 12 при недопустимости *достижения Брежневых*). Есть, безусловно, и приемы, свойственные новоязу исключительно. К ним относится, например, раздвоение как обыденных, так и юридических терминов: *визит/вояж, интернационализм/космополитизм, гражданство/подданство* (последнее для жителей капстран), *социалистическая законность/ буржуазная законность, договор/накт (сделка, ср.:*

«кэмпдэвидская сделка») и т. п. Расщепление юридической терминологии было особенно характерно для сталинской эпохи, потом оно было частично снято.

Описываемой тенденции к максимальной поляризации мира на первый взгляд противостоит тенденция к *анонимизации противника*, столь характерная для эпохи застоя<sup>23</sup>. Действительно, в брежневское время образ врага становится все более диффузным, расплывчатым, а в универсуме лозунгов этот процесс достиг своего предела: там, как замечает Левин<sup>24</sup>, отрицательный полюс теперь совсем не представлен, вместо этого царствует всеобщее *Да здравствует!* Но враг все-таки продолжает существовать, хотя и в скрытом виде. В этот момент особенно важными становятся *имплицитные* оценочные средства, которые лишь вторично получают положительный или отрицательный заряд. Тут хотелось бы обсудить роль двух оппозиций, известных из логики, а именно «квантор общности / квантор существования» и «необходимость / возможность». Поскольку связь этих понятий с пропагандой менее очевидна, здесь требуется комментарий, что позволяет проиллюстрировать семантический подход к изучению новояза.

Оппозиция «квантор общности / квантор существования» была уже не раз рассмотрена в связи с анализом социалистической пропаганды<sup>25</sup>. Дело в том, что языковые элементы, такие, как неопределенные местоимения, прилагательные *отдельный, единственный* или бытийные предложения (*Есть люди, которые..., Существует мнение, ...*) в социалистической пропаганде со значительной частотностью указывают на противника, что-то нежелаемое и т. п., короче, на «чужое». Тогда как большинство употреблений местоимений *каждый, все, целый, всякий, любой, кто бы то ни был* и их производные вроде *всемирный, всесторонний, всецело* и т. п. связаны преимущественно со «своими». Таким образом, при отрицании квантор общности превращается в показатель «чужого»: смысл *не все* порождается из местоимения *некоторые* или *кое-кто* путем шкалярной имплицатуры.

Сказанное нуждается в оговорках. Во-первых, не все неопределенные местоимения подвергаются негативной оценке: в первую очередь такую функцию выполняют ряды на *-то* и с *кое-*, местоимения *тот или иной, иные и некоторые*, кроме того, квазиместоимения *определенный* (в смысле неопределенного местоимения) и *известный*, в гораздо меньшей мере семантически более специализированные ряды на *-нибудь* или *-либо*, а ряд с *не-* (ср. *некий, некто*) часто остается аксиологически нейтральным. Во-вторых, особо следует рассмотреть поведение экзистенциальных предложений с учетом модальности и тематико-рематической структуры предложения. И наконец, до сих пор не принималось в расчет, в каких контекстах неопределенно-личная форма глагола (ср. *Могут возразить...*) также носит отрицательную окраску.

Я здесь сознательно отвлекаюсь от прагматических свойств некоторых из упомянутых лексем. Стоит лишь напомнить, что примеры вроде *известные* (силы) или *кое-кому* (невыгодно) часто служат мистификацией хорошо знакомого референта, так что между говорящим и адресатом возникает своеобразный референциальный заговор (мол, «мы-то с тобой прекрасно знаем, о ком идет речь»; такая же «конспирация» возможна и в обыденной речи: например, об отсутствующем третьем лице вполне можно сказать: «Кое-кому я тут не завидую»). Но такая мистификация происходит не обязательно, поскольку вполне можно назвать противника в последующем контексте (ср. пр. 24).

С универсальными местоимениями дело обстоит, несомненно, сложнее: тут следовало бы сначала выделить те нейтрализующие контексты, в которых они необходимы независимо от их оценочного заряда. Так, высказывания: *Все это вздор* и *Все это правда* по правилам новояза построены одинаково правильно, а смысл высказываний *во всем мире* или *каждый девятый рабочий на Западе безработный* — должны быть выразимы и на новоязе. Нейтрализующим следует, возможно, признать и такой контекст, где квантор находится в сфере действия друго-

го квантора общности:

(23) «Советское общество отбрасывает *все мертворожденное* в искусстве, как *всякий живой организм* отбрасывает отжившие, омертвевшие клетки» (Н. С. Хрущев. «Высокая идейность...»).

Мы вновь сталкиваемся здесь с известным уже противопоставлением здоровых сил и мертвых элементов, годящихся разве что для «свалки истории». Но эта оппозиция теперь осложняется универсальным местоимением, которое появляется дважды — раз по «плохой», раз по «хорошей» стороне аксиологической оппозиции. Второй случай не вызывает возражений: сочетание *Все мертворожденное*, на первый взгляд, противоречит нашему аксиологическому правилу, но объясняется это тем, что глагол *отбрасывать* содержит скрытую негацию: все, что нам чуждо, будет сведено к нулю, к не-бытию (ср. в той же речи: *И все, что мешает интересам народа, партия будет устранять с пути строительства коммунизма*). Иначе говоря, проблема квантификации вообще снимается: просто не будет никакого нарушителя всеобщего счастья.

Итак, поле универсальности нельзя однозначно отождествлять с положительным аксиологическим полюсом. С другой стороны, нельзя также отрицать, что идея совокупности, сплочения, монолитного единства собственных сил пропагандисту особенно дорога (ср.: *Целиком и полностью подтверждаем..., Всенародно одобряем...*), а выразить ее можно лишь с помощью универсального квантора. То же верно и для представления о *личной заботе Сталина о каждом*, столь существенной для тогдашней пропаганды и самого вождя (не случайно Хрущев в своих воспоминаниях рассказывает, какое впечатление произвела на него личная озабоченность Сталина состоянием московских туалетов: «Даже “по-маленькому” люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться... Казалось бы, такая мелочь. Но это меня еще больше подкупило»). Подчеркнем, что тотальный охват «своих» может иногда восприниматься охваченными как нежелательное явление (ср.: *«Перестройка как-то задевает каждого, выводит из привычного для многих состояния покоя, удовлетворенности сложившимся образом жизни»*<sup>26</sup>). Наблюдения, сформулированные на основе языка Горбачева, полностью подтверждаются при анализе текстов Хрущева. Ограничусь одним примером из уже процитированной речи 1963 г. «Высокая идейность и художественное мастерство», иллюстрирующим аксиологическую согласованность различных показателей неопределенности и неодобительного множественного числа:

(24) «В художественном мастерстве, в ясности и четкости идейных позиций — сила художественных произведений. Но, оказывается, это *не всем* нравится. *Иногда* идейную ясность произведений литературы и искусства *атакуют* под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме *такие настроения* проявились в заметках Некрасова “По обе стороны океана”».

Отметим, что здесь автор после разных имплицитных атак переходит к прямому наступлению, т. е. к названию противника по имени. Горбачев так уже не поступает, у него противник в подавляющем большинстве случаев не имеет имени. Если сопоставить в этом отношении тексты, относящиеся к различным периодам, можно показать, что сохранение анонимизации более характерно для застойного и перестроечного периода, между тем как хрущевская пропаганда скорее была склонна к открытой атаке. С другой стороны, разоблачение врагов народа в сталинские времена обходилось совсем без всяких маркеров неопределенности — там мишень для уничтожения всегда называлась с предельной ясностью.

Оппозиция «квантор общности — “свое” / квантор существования — “чужое”» находит свое отражение также в темпоральном плане: так, противник или нежелательное отличается неустойчивостью, переходностью (ср. *временные трудности, пережитки прошлого*), отсюда его склонность ко всяким болезням, загниванию и распаду, в то время как «свое» всегда (= темпоральный квантор общности) посто-

янно (ср. роль стабилизаторов вроде *неуклонный, неизменный, неукоснительный* или *был и остается*). Согласованность референциальных и темпоральных средств выражения тотальности иллюстрирует следующая фраза из речи Горбачева по поводу чернобыльской катастрофы: «Суровый экзамен *держали и держат все* — пожарные, транспортники, строители, медики, специальные части Химзащиты, вертолетчики и другие подразделения Министерства обороны, Министерства внутренних дел». Здесь показательно употребление еще и третьего маркера универсальной референции, стремлением к тотальному охвату данной референциальной области следует также объяснить столь любимую технику *сочинительных рядов*, т. е. перечисления однородных членов. Эта черта часто усиливается с помощью универсальных местоимений. Примером может служить следующая фраза из доклада Горбачева:

(25) «Сейчас особенно нужны конкретные дела *каждого* советского человека, *каждого* трудового коллектива, *каждой* партийной организации»<sup>27</sup>.

Если идеологический потенциал оппозиции «тотальность/неопределенность» был сравнительно прозрачен, то пропагандистский потенциал оппозиции «необходимость/возможность» не столь очевиден. Критики новояза часто обращали внимание на высокую частотность лексем, выражающих долженствование, вроде *должен, обязан, необходим* и т. п., но редко задумывались над тем, кто именно должен. На самом деле, почти всегда должны мы, а противник только может. Объясняется это рядом причин. Во-первых, из модальной логики известна связь между модальными операторами и кванторами: если *P необходимо*, оно во *всех* возможных мирах истинно, если же *P только возможно*, то существует по крайней мере *один* возможный мир, в котором оно истинно. Можно это толковать и на лингвистическом уровне: возможность, как и неопределенность, относится к неизвестному, а необходимость, как и тотальность, — к известному. Не удивительно поэтому, что часто выражение возможности сопровождается неопределенной референцией, а необходимости — универсальной референцией, ср.:

(26) «Среди *отдельных людей* можно услышать разговоры о *какой-то* абсолютной свободе личности. Я не знаю, что здесь *имеют в виду*, но считаю, что абсолютной свободы личности не будет никогда». (Хрущев. «Высокая идейность...»).

(27) «Короче говоря, *нужна* широкая демократизация *всей* жизни общества». (Горбачев. «Перестройка и новое мышление»).

Невозможность *P* как третью ступень модальной логики можно отнести к необходимости; поэтому легко объяснить, что ее выражение появляется рядом с негативным универсальным квантором:

(28) «Общество *не может* допустить анархии и своеволия со стороны *кого бы то ни было*». (Хрущев. «Высокая идейность...»).

Ср.: Общество *не может* допустить *ничьей* анархии. Тут вновь действуют своеобразные семантические уравнения; так, в следующем примере за мнимой возможностью скрывается невозможность:

(29) «Ускорение развития общества *возможно только при* дальнейшем развитии демократизации = ускорение развития общества *невозможно без* дальнейшего...»

Во-вторых, необходимость характеризует законы всякого рода, а разве марксизм-ленинизм — не наука об исторических законах?

Для решения этих уравнений прежде всего требуется учет типа речевого акта: показатель возможности в вопросах (особенно дидактического или риторического характера) следует, по-видимому, трактовать иначе, чем в утвердительных актах (ср. пр. 32). Зададимся вопросом: куда отнести примеры, где появляются одновременно показатели возможности и необходимости при одном и том же референте? Ср.:

(30) «Отдача от сельскохозяйственных инвестиций *может и должна* быть выше». Аналогичным образом ведут себя и отрицательные предложения типа

(31) «Оппортунисты уверяют, что пролетариат *не может и не должен* брать власть,

если он не является сам большинством в стране»<sup>28</sup>.

Возникает вопрос: разве в данных предложениях не излишне одно из двух модальных выражений? Действительно, по законам модальной логики верно, что, если Р необходимо, оно и возможно, и наоборот: если Р невозможно, то оно тем более не необходимо. На самом деле, однако, эта избыточность снимается, если учесть разные типы модальности, такие как алетический, деонтический и эпистемический. Выходит, что ни пр. 30, ни 31 не содержат логически избыточных элементов, поскольку отдача может по объективным причинам (алетическая модальность) быть выше и адресат поэтому обязан (деонтическая модальность) прилагать все усилия к достижению наилучших результатов; подобным образом, по мнению оппортунистов, пролетариат объективно не может победить, будучи в меньшинстве, и поэтому в такой ситуации — по нормам разума и этики — не должен стремиться к власти. Следовательно, такие примеры приходится причислять к контекстам, нейтрализующим оппозицию «необходимость — “свое” / возможность — “чужое”».

Напомним, что наши соображения о роли кванторов и модальных операторов в новоязе служили, главным образом, для доказательства того, что лингвистическое изучение новояза не может и не должно удовлетворяться стилистическим анализом; тут следует использовать весь арсенал семантических и прагматических знаний, накопленных современной наукой.

В заключение дадим слово реалисту Хрущеву, который прекрасно отдавал себе отчет в том, что представление о социализме как о царстве необходимости на практике допускает исключения:

(32) «Могут ли быть при коммунизме нарушения общественного порядка, отклонения от воли коллектива? *Могут*. Но, видимо, как *единичные* факты. *Нельзя* думать, что будут *исключены* случаи психического заболевания и что душевнобольные люди *не могут* стать нарушителями правил общежития». (Хрущев. «Высокая идейность...»).

Обратим внимание на то, что представленное тут тройное выражение невозможности Р в конечном итоге подчеркивает как раз возможность Р<sup>29</sup> (ср.: невозможно думать, что Р невозможно = Р вполне возможно). Выходит, что идеал общества, в котором действуют все законы марксизма-ленинизма и каждый выполняет свой общественный и интернациональный долг, даже после устранения всех омертвевших клеток (ср. пр. 23) может нарушить любой псих. Но именно только он — в этом все утешение.

Зададимся вопросом: можно ли в ходе исторического развития новояза выделить *персональные стили*? Можно не колеблясь дать положительный ответ: после Ленина именно Хрущев разработал свой собственный почерк. Оригинальность его стиля заключается в следующих чертах: спонтанность, непредсказуемость, даже креативность, которая проявляется особенно в его трактовке существующих штампов пропаганды (лозунгов), а также «народной мудрости» (метафоры, пословицы и поговорки); грубая, часто вульгарная, но, по крайней мере, живая образность; прямолинейная агрессивность, вербальный авантюризм.

Вопрос о возможном индивидуальном стиле Сталина куда сложнее. Если опираться на его теоретические работы, такие, как цитированные выше лекции «Об основах ленинизма», то там, кроме дидактизма (проявляющегося главным образом в избытии риторических вопросов и анафор), никакой новизны по сравнению с другими большевиками-теоретиками не видно. С другой стороны, нельзя отрицать стилистическую специфичность «Краткого курса»<sup>30</sup>, в котором сочетаются (именно сочетаются, а не сливаются) по крайней мере три различных пласта: упомянутый уже дидактический, бюрократический и параноидально-агитационный пласт. Каков вклад в создание этого шедевра самого Сталина, остается

пока неизвестным, хотя все указывает на то, что по крайней мере параноидальные инвективы против его бывших соперников могут быть приписаны только ему лично. Представляется, однако, более оправданным усмотреть в этом не выражение сталинского стиля, а, скажем, стиля зрелого сталинизма, т. е. целой эпохи. Это тем более законно, что даже после смерти Сталина эта традиция еще некоторое время продолжалась: к примеру, разоблачение Берии в советской прессе выглядело так же, как разоблачение «бухаринско-троцкистской банды».

В заключение отметим, что многие из указанных признаков новояза (в том числе и такие, которые изжили себя уже в позднейший период) ожили в посткоммунистической России, чему свидетельством — богатый материал из современной прессы, приведенный в работах О. П. Ермаковой<sup>31</sup> и особенно Е. В. Какориной<sup>32</sup>. В частности, активизируются метафорические поля, о которых шла речь выше. Так, мусорным ямам прошлого у Хрущева соответствует такое определение России как мусорная яма имени Ельцина, зверинец правых сил пополняется всевозможными тараканами, трупными червями, саранчой, хищниками, псами, собаками, свиньями, ястребами и даже планктоном (обозначение демократов)<sup>33</sup> («Кто же, если не мы, прищемит хвост жовто-блакитной крысе?»<sup>34</sup>); религиозное сектантство добавляет свое: «Это (церкви) ... тараканьи гнезда, в которых черные тараканы “православия” кусают друг друга и эпидемизируют народ» (из листовки «Белого братства»<sup>35</sup>). Подобным же образом, акулы капитализма превратились в акул бизнеса, рынка или наркомафии. С другой стороны, та же метафорика, разумеется, применима как контроружие в борьбе с силами прошлого: так, дракон тоталитаризма, гадина коммунизма или мастодонты партийного фундаментализма имеют такое же право на существование, как и гидра шовинизма или удав преступности<sup>36</sup>, хотя и их могут ожидать разные неприятные инциденты (ср.: «Очередная башка стоголовой коммунистической гидры раздавлена»<sup>37</sup>). Отметим попутно, что именно такие зооморфизмы почти полностью отсутствуют в западной политической прессе (они воспринимаются как устарелые), между тем как разного рода метафоры, связанные с болезнью (ср.: «Болезнь суверенизации оказалась заразной») процветают там до сих пор. И наконец, следует упомянуть об отмеченном Какориной спорадическом воскресении политфольклора у «противников демократии» (ср.: «...Зимой, как только Медведь лег в спячку, Лиса и Волк задумали в тереме провести реформу, то бишь перестройку»).

Сказанное, конечно, не означает, будто современные политические силы питаются лишь из «мусорной ямы» советского новояза — у них появились и свои собственные приемы, причем весьма оригинальные, например, изобретение аббревиатур типа ВОР (Временный оккупационный режим) и полемических контаминаций, вроде демокрады, демпапуасы, демунисты, дерьмократы, или негативная оценка новых иноязычных заимствований, представленная у А. Макашова: «...чтобы никогда на русской земле не было ни мэров, ни пэров, ни херов...»<sup>38</sup>. Таким образом, новизна современной языковой ситуации заключается в том, что значительной вариативности новояза в историческом срезе соответствует не меньшая вариативность посткоммунистического политического языка в синхронном плане.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1 P. Sériot. *Analyse du discours politique soviétique*. Paris, 1985; D. Weiss. Was ist neu am Newspeak? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion // *Slavistische Linguistik* 1985 (Hrsg. R. Rathmayr). München, 1986. S. 247—325. Сюда же следует отнести и глубокий анализ языка польской пропаганды, в основе которого лежали те же принципы и приемы, что и в советском варианте: *Bralczyk J.* *O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych*. Uppsala, 1987.

2 Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion // *Slavistische Linguistik* 1994. (Hrsg. D. Weiss). München, 1995. S. 343—391; Die Entstalinisierung der Propaganda (am Beispiel der Sowjetunion und Polens) // J. P. Locher (Hrsg.), *Schweizer Beiträge zum XII. Internationalen Slavisten-Kongress 1998 in Krakau*. Frankfurt-Bern (в печати); D. Weiss. Der alte Mann und die neue Welt. Chruschchev Umgang mit «alt» und «neu» // *Festschrift für H. Jachnow*. Ms. 35 S., 1998. Как и настоящий очерк, последняя работа могла появиться благодаря гранту, присужденному Швейцарским Национальным фондом для осуществления проекта по исследованию истории советской пропаганды.

3 Краткий педагогический словарь пропагандиста. 2-е изд. М., 1988. С. 239.

4 Подробнее об этом процессе ср. многочисленные работы западных фольклористов, например: *Oinas F.J.* *The Political Uses and Themes of Folklore in the Soviet Union* // *Journal of the Folklore Institute*, 1975. № 12. P. 157—175; *Miller F.* *Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era*. Armonk-London, 1990. О непоследовательности этого процесса, т. е. о случаях, когда определенные представители этой текстовой традиции продолжали печататься в официальных антологиях и сборниках советского фольклора, ср.: *Weiss D.* *Die Entstalinisierung der Propaganda (am Beispiel der Sowjetunion und Polens)*.

5 Ср. известную статью Н. Леонтьева «Волхование и шаманство» (*Новый мир*. 1954. № 8. С. 227—254).

6 См.: *D. Weiss.* *Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion*. S. 353.

7 См.: *D. Weiss.* *Die Entstalinisierung der Propaganda (am Beispiel der Sowjetunion und Polens)*. S. 4.

8 *В. И. Ленин.* О голоде // *В. И. Ленин Полн. собр. соч.*. Т. 36. С. 357.

9 Все цитаты приводятся по ст.: *А. Н. Шустов.* *Враг народа* // *Русская речь*, 1992. № 5. С. 112—117.

10 Таковыми оказались, например, члены польского ЦК в октябре 1956 г. Когда Хрущев без приглашения прилетел в Варшаву, он не только уже в аэропорту при всех пригрозил польским хозяевам кулаком, но, судя по воспоминаниям Охаба, заявил во время встречи: «Мы еще разберемся, кто тут враг Советского Союза».

11 Небезынтересно отметить, что он все-таки не являлся исключительной привилегией Запада. В «Известиях» от 10 июля 1953 г. читаем: «Уход же из-под партийного контроля ведет неизбежно к провалам в работе и к *загниванию работников*». См. также прим. 12.

12 *Н. С. Хрущев.* *Коммунизм — мир и счастье народов* // *Н. С. Хрущев. Сочинения*. Т. 1. М. 1962. С. 17.

13 К сожалению, этот фрагмент отсутствует в английском переводе хрущевских воспоминаний, опубликованном в США в три этапа (*Khrushchev remembers*. Vol. I. Boston - Toronto - London, 1971; Vol. II, 1974; *The Glasnost Tapes*, 1990).

14 *М. С. Горбачев.* *Перестройка и новое мышление*. М., 1987. С. 132.

15 В свете этих примеров явным упрощением является утверждение О. П. Ермаковой: «В доперестроечный период в советской прессе тоже появлялись метафоры этого типа, но «болезни» усматривались только в капиталистическом обществе» (*О. П. Ермакова.* *Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия (1985—1995)* / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1996. С. 52).

16 *И. В. Сталин.* *Об основах ленинизма*. М., 1991. С. 113

- 17 *Н. С. Хрущев*. Доклад на XXII съезде КПСС. М., 1961. С. 17.
- 18 Там же. С. 12.
- 19 *Н. С. Хрущев*. Коммунизм — мир и счастье народов. Т. 2. С. 78.
- 20 См.: *D. Weiss*. Was ist neu am Newspeak? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion. S. 270—276.
- 21 *С. Е. Никитина*. Общие признаки научного и фольклорного текста // Логический анализ языка: Референция и проблемы текстообразования / Отв. ред. Арутюнова Н. Д. М., 1988. С. 86—87.
- 22 См.: *Пеньковский А. Б.* О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики 1985—1987. М., 1988. С. 54—82. Ср. также: *Падучева Е. В.* Неопределенность как семантическая доминанта русской языковой картины мира // *Determinatezza e indeterminatezza nelle lingue slave* (a cura di R. Benacchio, F. Fici e L. Gebert). Padova, 1996. P. 163—185.
- 23 См.: *P. Sériot*. Analyse du discours politique soviétique. Paris, 1985.
- 24 *Левин Ю.* Заметки о семиотике лозунгов // Wiener Slavistischer Almanach, 1988. № 22. S. 69—85.
- 25 См. об этом: *D. Weiss*. Was ist neu am Newspeak? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion. S. 276—277, 283—284; *Bralczyk J.* O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. S. 34—39.
- 26 *М. С. Горбачев*. Перестройка и новое мышление. С. 25.
- 27 Правда. 1985. 15 октября.
- 28 *И. В. Сталин*. Об основах ленинизма. С. 15.
- 29 Это происходит потому, что последние два члена входят в сочинительный ряд, ср.: «... что будут *исключены* ... и что люди *не могут*...».
- 30 См. статью Е. Добренко о «Кратком курсе» в настоящем издании.
- 31 См.: *О. П. Ермакова*. Указ. соч.
- 32 См.: *Е. В. Какорина*. Трансформации лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). С. 67—89 и «Стилистический облик оппозиционной прессы» (в том же сборнике. С. 409—426).
- 33 *Е. В. Какорина*. Стилистический облик оппозиционной прессы. С. 424.
- 34 Там же. С. 416.
- 35 *О. П. Ермакова*. Семантические процессы в лексике. С. 65.
- 36 Там же. С. 57 и далее.
- 37 Там же.
- 38 Цит. по: *Е. В. Какорина*. Трансформации лексической семантики и сочетаемости. С. 70.